



Timur

**Зеркало**

«Автор»

2026

**Timur**

Зеркало / Timur — «Автор», 2026

В бедной деревне Эстремадуры и в рабочем квартале Мадрида почти одновременно рождаются два мальчика. Один станет националистом, другой - социалистом. Оба вырастут с чувством избранности, оба влюбятся, оба потеряют и оба поверят, что их правда - единственно верная. Их судьбы развиваются как зеркальные отражения: детство среди молитв и полей - и среди газет и баррикад; первая любовь, разбитая о сословные перегородки; юность, закалённая политическими бурями тридцатых годов XX века. А затем - гражданская война, которая расколет страну и сведёт их на заснеженном поле под Гвадалахарой.

© Timur, 2026

© Автор, 2026

# Тимур Зеркало

## Пролог

*Гвадалахара — Мадрид, октябрь 1957 года*

Автобус выехал из Гвадалахары в семнадцать тридцать, когда октябрьское солнце уже клонилось к горам и поля вдоль шоссе лежали в той особенной тишине, какая бывает только осенью на кастильском плоскогорье, — ни ветра, ни птиц, только ровный гул двигателя «Пегасо» да дребезжание стёкол на каждом ухабе. За окнами проплывали сжатые пастбища, редкие каменные дубы стояли на холмах, как забытые часовые, и далёкая цепь Гвадаррамы на горизонте уже окрасилась в тот тёмно-фиолетовый цвет, который предвещает скорые сумерки.

В салоне пахло дешёвым табаком, кожей потёртых сидений, пылью, поднятой с просёлочных дорог, и чуть заметно — чесноком, который везла в корзине какая-то крестьянка с заднего ряда. Лампочка над проходом не горела — водитель берёг аккумулятор, — и внутри сгушался тот особенный полумрак, когда лица пассажиров уже теряют дневную чёткость, но ещё не растворяются в темноте. Кроме крестьянки с корзиной, в автобусе ехали ещё человек десять, и почти все молчали — сказывалась усталость долгого дня.

Две женщины сидели через проход друг от друга, и так вышло, что обе одновременно полезли в сумочки за платками. Одна была в тёмно-сером пальто, строгом, застёгнутом на все пуговицы, с аккуратным шерстяным платком на плечах. У неё были руки женщины, привыкшей к домашней работе, — с набухшими венами и коротко остриженными ногтями, но держалась она с достоинством, какое бывает только у тех, кто прожил жизнь в городе и научился не показывать слабости. Вторая, в чёрном вдовьем платке и грубоватом деревенском жакете, сидела, сложив руки на коленях поверх небольшого узелка. Кожа её лица, обветренная солнцем и ветрами плоскогорья, напоминала кору старого оливкового дерева, но глаза — тёмные, глубоко посаженные глаза — были живыми, внимательными, словно она всё ещё кого-то высматривала среди холмов за окном.

Они чихнули почти одновременно — от сухого воздуха, который залетал через открытую форточку, пытаясь разогнать духоту. Переглянулись. Женщина в сером пальто улыбнулась — той вежливой, чуть смущённой улыбкой, какой обмениваются незнакомцы, застигнутые за общей маленькой слабостью.

— Простите, — сказала она, прикладывая платок к носу. — Эта пыль. Вечно она. Сколько лет езжу этой дорогой, а привыкнуть не могу.

Женщина в чёрном платке кивнула, и движение это было медленным, полным какого-то внутреннего ритма, не городского, не спешащего.

— Это не пыль, — ответила она негромко, и голос у неё оказался ниже, чем можно было ожидать. — Это земля. Она здесь другая. Сухая. Когда ветер с гор, она поднимается и стоит в воздухе часами. Дышишь ею, пьёшь её, живёшь с ней.

— Вы из этих мест? — спросила женщина в сером пальто.

— Из Эстремадуры. Но здесь я бываю каждый год. В это время. Уже почти двадцать лет.

Пауза. Такая пауза, когда двое незнакомых людей вдруг понимают, что их молчание значит больше, чем слова, и что слова сейчас последуют — те самые, которых не говорят случайным попутчикам, но которые почему-то говорят именно им.

Женщина в сером пальто посмотрела на свои руки, потом на узелок на коленях соседки — там, из неплотно завязанной ткани, выглядывал край букетика сухих полевых цветов, уже побуревших, но всё ещё хранивших форму.

— Я тоже каждый год, — сказала она тихо. — В марте, к годовщине. И иногда осенью, когда получается. У вас... у вас тоже кто-то там? На кладбище?

Женщина в чёрном платке не ответила сразу. Она перевела взгляд на окно, где за стеклом проплывали те самые поля, те самые дубы, та самая кастильская земля — рыжая, каменистая, бедная, но упрямая, как и люди, которые на ней жили. Когда она снова повернулась, в её глазах стояло то особенное выражение, какое бывает у матерей, потерявших детей, — не слёзы, нет, слёзы уже давно кончились, а та тихая, бесконечно глубокая печаль, которая стала частью существа, как цвет глаз или форма рук.

— Сын, — сказала она просто. — Мой сын. Ему было двадцать два.

И тогда женщина в сером пальто — мадридская женщина с руками, знавшими домашнюю работу, — подалась вперёд, и лицо её изменилось, и она сказала:

— Мой тоже. Двадцать один. В марте тридцать седьмого. Под Гвадалахарой.

Тишина в автобусе вдруг стала другой. Двигатель всё так же гудел, стёкла всё так же дребезжали, крестьянка сзади всё так же дремала, привалившись головой к корзине, но тишина между двумя женщинами сделалась плотной, почти осязаемой, как будто воздух в проходе между сиденьями сгустился от всего того, что осталось произнесённым за двадцать лет.

За окнами совсем стемнело. Водитель включил тусклую лампочку над проходом, и жёлтый свет упал на лица женщин, выхватив из темноты морщины, складки платков, старческие руки, лежащие на коленях.

— Под Гвадалахарой, — повторила женщина в чёрном платке, и в голосе её не было удивления — только горькое, почти невыносимое узнавание. — Мой тоже. Там, у Бриуэги.

Они смотрели друг на друга, и каждая видела в глазах другой то, что не нужно было объяснять словами. Двадцать лет — это много и мало. Двадцать лет — достаточный срок, чтобы научиться жить с раной в груди, но недостаточный, чтобы эта рана затянулась. Двадцать лет — это тысяча воскресных месс, тысяча зажжённых свечей, тысяча раз поставить цветы в вазу и знать, что никто их не увидит. Двадцать лет — это целая жизнь, прожитая без того, без кого жизнь должна была бы продолжаться, но так и не продолжилась по-настоящему.

— Как его звали? — спросила женщина из Мадрида.

И женщина из Эстремадуры ответила...

## **Глава 1. Рождение. Деревня в Эстремадуре, 1915 год**

*Рассказывает мать: Мария дель Кармен Альварес-и-Фуэнтес*

*Я всегда знала, что мой сын родится в марте. Не потому, что так говорила повитуха, хотя и она тоже, а потому, что март в нашей деревне — это месяц, когда миндаль зацветает прежде, чем появляются листья. Белые цветы на голых чёрных ветках, и кажется, будто дерево оделось в снег, хотя солнце уже греет вовсю. Я смотрела на этот миндаль из окна нашей спальни и думала: если родится мальчик, он будет как этот цветок — упрямый, появляющийся раньше срока, раньше, чем его ждут. Так и вышло. Только родился он не в марте. Он родился в феврале, и не среди белых цветов, а среди ледяного ветра, который пришёл с гор Сьерра-де-Гредос и выстудил всю деревню до последнего камня. Ветер выл в трубе так, будто сама земля стонала родами вместе со мной.*

Деревня, в которой появился на свет мальчик, не имела названия на картах. На картах значился только муниципалитет — Вальверде-дель-Фресно, хотя и его картографы часто путали с соседним Вальверде-де-ла-Вера. Но для тех, кто там жил, деревня называлась просто *Ла-Альдеа* — «та самая деревня», словно других деревень на свете и не существовало. Она лежала в долине, зажатой между двумя невысокими холмами, поросшими каменным дубом и пробковым деревом, и состояла из сорока трёх домов, церкви, посвящённой Деве Марии

Скорбящей, и одного колодца на площади. Дома были сложены из того же камня, что и холмы, — серо-жёлтого, пористого, крошащегося от времени, — и черепица на крышах была старая, выцветшая до цвета сухой глины, местами поросшая мхом. В дождь мох становился ярко-зелёным, и тогда деревня выглядела так, будто её крыши затягиваются бархатом.

В тот год, когда родился мальчик, дождей не было уже два месяца. Земля на полях рас-трескалась, и трещины напоминали карту какой-то неведомой страны. Колодец на площади обмелел, и женщины ходили за водой к роднику в двух километрах от деревни, вниз по склону, туда, где росли три старые оливы, посаженные, как говорили старики, ещё при маврах. Они носили воду в глиняных кувшинах на голове, подложив под основание кувшина свёрнутую тряпку, и шли медленно, выпрямив спины, как ходят все андалузские и эстремадурские женщины, — с достоинством королей, несущих короны, хотя короны их были из обожжённой глины, полные мутной воды. Вода в роднике была ледяная и пахла камнем и корнями.

Семья мальчика жила в доме на северном склоне. Дом был не самым бедным, но и не богатым — три комнаты, кухня с очагом, хлев для коз. Пол был земляной, утрамбованный до твёрдости камня, и каждую субботу будущая мать мальчика, Мария дель Кармен, посыпала его свежим розмарином и тимьяном, которые приносила с холмов. Травы сохли под ногами и наполняли дом запахом, от которого кружилась голова. Отец, Хосе Антонио, был арендатором — он обрабатывал участок земли, принадлежавший помещику из Касереса, и отдавал ему две трети урожая. Сеяли пшеницу и ячмень, держали несколько коз ради молока и сыра, и ещё у них был осёл, старый, с печальными глазами, которого звали Санчо.

Хосе Антонио был человеком молчаливым. Он говорил редко, но, когда говорил, слова его были обдуманы заранее, словно он долго взвешивал каждое на языке, прежде чем выпустить наружу. Он был среднего роста, с руками, покрытыми шрамами от серпа и каменных осколков, и с лицом, которое ветер и солнце выдубили до цвета старой меди. Он верил в Бога, но не так, как верила его жена, — не со страстью и слезами, а спокойно, как верят в смену времён года, в то, что за зимой придёт весна, а за весной лето, и всё это в руках Того, Кто создал землю и небо. Он ходил к мессе каждое воскресенье, исповедовался и причащался на Рождество и на Пасху, и этого ему было достаточно.

Мария дель Кармен была другой. Она была моложе мужа на семь лет, и в её жилах текла кровь не только крестьянская, но и, как она любила повторять, «благородная» — её прадед был идалго из Трухильо, обедневшим, но сохранившим герб над камином. Правда, камин этот давно развалился, герб продали за долги, но гордость осталась, и Мария дель Кармен носила её, как носят старинное платье, которое надевают только по большим праздникам. Она была набожна до иступления. В углу спальни у неё стояло распятие из оливкового дерева, и перед ним каждый вечер она зажигала лампадку с оливковым маслом; запах горячего масла смешивался с запахом трав на полу, и весь дом наполнялся этим странным ароматом, в котором святость мешалась с повседневностью.

Она молилась каждый вечер, стоя на коленях на голом полу, и её шёпот был слышен во всех комнатах. Она молилась за урожай, за мужа, за ещё не рождённого ребёнка, за упокой душ умерших родственников, за Испанию, за короля Альфонсо, о котором она знала только то, что он существует где-то далеко, в Мадриде, и что его изображение отчеканено на монетах. Она молилась так истово, что иногда, глядя на неё, Хосе Антонио испытывал что-то похожее на страх.

Роды начались ночью, в последнюю неделю февраля.

Повитуху звали Эулалия. Она была старухой с лицом, напоминавшим печёное яблоко, и с руками, которые, несмотря на возраст, были сильными и ловкими. Она приняла в этой деревне больше детей, чем прожила лет, — так говорили соседки, и, хотя это было преувеличением, преувеличение было небольшим. Эулалия знала всё: какие травы заваривать, если роды затягиваются, какие молитвы читать, если ребёнок идёт ножками вперёд, как массировать живот

роженице и когда звать священника, потому что медицина уже бессильна. Она пришла в дом Хосе Антонио и Марии дель Кармен в час ночи, когда ветер с гор выл так, что заглушал крики роженицы, и принесла с собой узелок — в нём были сушёные травы, чистое полотно, острый нож для пуповины и маленький серебряный крестик, которым она крестила воду.

В комнате было жарко. Хосе Антонио развёл огонь в очаге, и пламя бросало тени на стены; тени дрожали и метались, как живые существа. Мария дель Кармен лежала на кровати, вцепившись руками в деревянную спинку, и её лицо было белым, как миндальный цвет. Эулалия поила её отваром из ромашки и шалфея и говорила что-то вполголоса — не то молитву, не то заговор, старые слова, которые передавались от одной повитухи к другой с незапамятных времён.

В три часа ночи ветер стих. Наступила та особенная тишина, которая бывает только в деревне глубокой ночью, — тишина, в которой слышно, как потрескивает огонь в очаге и как дышит женщина, борющаяся за жизнь — свою и своего ребёнка. А потом тишину разорвал крик. Это был первый крик новорождённого — тонкий, пронзительный, похожий на крик ночной птицы, и Хосе Антонио, стоявший во дворе под звёздами, услышал его и заплакал. Он заплакал впервые за много лет, сам не зная почему, — может быть, от облегчения, может быть, от того странного, незнакомого чувства, которое вдруг наполнило его грудь и для которого у него не было названия.

Эулалия обмыла младенца тёплой водой, перевязала пуповину, завернула его в чистое полотно и положила на грудь матери. И в этот момент, как рассказывала потом Мария дель Кармен, произошло то, что она запомнила на всю жизнь. Когда она впервые взглянула на лицо своего сына, лампадка перед распятием вдруг вспыхнула ярче — или, может быть, просто пламя колыхнулось от сквозняка, но ей показалось, что свет стал сильнее, словно ангел заглянул в комнату, чтобы благословить новорождённого. И она прошептала:

— Ты будешь слугой Господним. Я назову тебя Анхель.

*Ángel. Ангел.*

И Хосе Антонио кивнул. Он не спорил с женой в таких вопросах. Если женщина, только что прошедшая через врата смерти, говорит, что её сын должен зваться Ангелом, — пусть будет Ангел. К тому же имя было хорошее, католическое, и несколько святых носили его, и в деревне было ещё два Анхеля — один старый, другой мальчишка, — так что имя было привычным. Правда, один из Анхелей был горьким пьяницей, а другой — воровал кур у соседей, но это не имело значения. Имя было только именем. Важно было то, что человек с ним сделает.

На следующий день Хосе Антонио запряг осла и поехал в приходскую церковь в Вальверде, чтобы договориться о крещении. Дорога шла через дубовые рощи, где паслись чёрные свиньи, и через поля, уже начинавшие зеленеть первыми ростками ячменя. Стоял тот особенный свет, какой бывает в Эстремадуре в конце зимы, — резкий, почти прозрачный, делающий все предметы чёткими, словно вырезанными из дерева. Каждый камень, каждая ветка, каждая травинка были видны с такой ясностью, что казалось — мир только что создан и ещё не успел покрыться пылью времени.

Священник, падре Херонимо, был человеком старым и больным. Он служил в этом приходе уже сорок восемь лет и знал всех своих прихожан по именам, их грехи и добродетели, их беды и радости. Когда-то он мечтал о карьере в Толедо или даже в Мадриде, но жизнь распорядилась иначе, и теперь он доживал свой век среди крестьян, которые говорили на диалекте, понятном только им, и чья вера была странной смесью католицизма и древних суеверий — таких древних, что они, вероятно, помнили ещё римлян. Падре Херонимо выслушал Хосе Антонио, кивнул и сказал, что крещение можно провести в воскресенье, после мессы.

— Имя? — спросил он, доставая приходскую книгу.

— Анхель. Анхель Альварес-и-Фуэнтес.

Падре Херонимо записал имя в книгу. Чернила были бледными, и перо скрипело по бумаге, оставляя неровные буквы. Потом он закрыл книгу и посмотрел на Хосе Антонио долгим взглядом, в котором было что-то похожее на жалость.

— Тяжёлые времена наступают, — сказал он. — В Европе война. До нас она, может быть, и не дойдёт, но её тень уже здесь. Цены растут. Люди голодают. В Мадриде и Барселоне рабочие бастуют. Говорят, что король теряет власть.

Хосе Антонио молчал. Политика была для него тем же, чем погода на другой стороне гор, — чем-то далёким и не имеющим отношения к его жизни.

— Я не знаю, что там в Мадриде, падре, — сказал он наконец. — Но, если цены на пшеницу вырастут, это хорошо.

Падре Херонимо вздохнул.

— Молись, — сказал он. — Молись за своего сына. Ему жить в этом мире. И Бог знает, что его ждёт.

В воскресенье, седьмого марта 1915 года, Анхель Альварес-и-Фуэнтес был крещён в приходской церкви Вальверде-дель-Фресно. Церковь была старой, построенной в шестнадцатом веке на фундаменте бывшей мечети, и её стены были толщиной в метр. Внутри пахло ладаном, воском и сыростью. Статуя Девы Марии Скорбящей стояла в боковом приделе, и её лицо, вырезанное из тёмного дерева, выражало такую глубокую печаль, что Мария дель Кармен всегда плакала, глядя на него.

Крестильная купель была каменной, с вырезанным на ней гербом какого-то давно забытого рода. Вода в ней была ледяной, и когда падре Херонимо окропил голову младенца, Анхель закричал — громко, требовательно, словно протестуя против первого в своей жизни соприкосновения с холодом мира. Крёстным отцом стал брат Хосе Антонио, Мигель, человек с большими усами и добрыми глазами, который работал на мельнице. Крёстная мать была сестрой Марии дель Кармен, Росой, худой и бледной женщиной, которая так и не вышла замуж и жила в доме своих родителей, помогая им по хозяйству.

После крещения было угощение — хлеб с оливковым маслом, сыр, несколько бутылок вина, привезённого Мигелем из Касереса. Соседи приходили, поздравляли, желали младенцу здоровья и долгих лет. И во всех этих разговорах, во всех этих пожеланиях было что-то такое, что Мария дель Кармен, с её обострённой чувствительностью, запомнила навсегда. Ей казалось, что все говорят о её сыне с особой интонацией — не просто как о ещё одном крестьянском младенце, который вырастет и будет пахать землю, как его отец и дед, но как о ком-то, кому предназначено нечто большее. Конечно, это была только иллюзия молодой матери, которая видит в своём первенце чудо, — но иллюзия эта была сильной и продержалась много лет.

Вечером, когда гости разошлись и деревня погрузилась в тишину, Мария дель Кармен сидела у окна с младенцем на руках и смотрела на закат. Солнце опускалось за холмы, и небо над Эстремадурой горело тем особенным оранжево-фиолетовым огнём, какой можно увидеть только здесь — на этой сухой, каменистой земле, которую одни называют проклятой, а другие — благословенной. Где-то далеко, за холмами, за горами, за равнинами Ла-Манчи, шумел Мадрид. Где-то ещё дальше, за Пиренеями, гремели пушки Первой мировой войны — но сюда, в эту долину, не долетал даже их отзвук. Здесь был только ветер, пахнувший тимьяном и розмарином, и крик ночной птицы, и дыхание спящего младенца.

Мария дель Кармен смотрела на сына. Его лицо было спокойным, и крошечные пальцы сжимались и разжимались во сне, словно он уже сейчас пытался ухватиться за что-то невидимое. О чём она думала в этот момент? Может быть, о том, что он вырастет и станет священником, как она мечтала. Может быть, о том, что он уедет в город и выучится на врача или адвоката. Может быть, о том, что он останется здесь, в деревне, будет пахать землю, растить детей и состарится, как состарились все мужчины в их роду. А может быть — и это было самое страшное, — она думала о том, что в этом мире, где идёт война, где голодают, где бастуют,

где короли теряют власть, её сыну придётся жить трудную жизнь, полную опасностей, которых она не могла даже представить.

Но всё это было впереди. А пока — пока был только этот вечер, этот закат, этот тихий дом на северном склоне, пропахший травами и оливковым маслом. Был только этот младенец на руках у матери, его ровное дыхание, его невинные сны. И был только этот момент покоя — короткий, как вздох, — перед тем, как время продолжало свой неумолимый бег.

За окном зацвёл миндаль.

## **Глава 2. Рождение. Мадрид, 1915 год**

*Рассказывает мать: Консуэло Гарсия-и-Лопес*

*В Мадриде говорят, что детей приносит не аист, а мадридский ветер — тот самый, что спускается с Гвадаррамы и пронизывает улицы до костей. Если это правда, то мой сын родился в самый ветреный день года. Я помню, как лежала в нашей квартире на Калье-де-Эмбахадорес и слышала, как ветер гудит в щелях оконных рам и хлопает ставнями на балконе. Этот звук был похож на сердцебиение — ровное, настойчивое, — и он сопровождал меня все восемь часов, пока я рожала. А когда всё кончилось, я подумала: этот мальчик не будет тихим. Он будет как этот ветер — он будет дуть и гнуть, но никто не сможет его остановить. Я оказалась права. Только ветер этот дул недолго.*

В южной части Мадрида, там, где кончаются широкие проспекты с каштанами и начинаются узкие улочки, мощённые булыжником, лежал район Эмбахадорес — рабочий квартал, который не значился на туристических картах и не упоминался в путеводителях для иностранцев, приезжавших посмотреть на Прадо и Королевский дворец. Здесь не было ни фонтанов, ни площадей со статуями, ни тенистых аллей, где прогуливались бы дамы в шёлковых платьях. Здесь были *корралы* — старые доходные дома, построенные ещё в семнадцатом веке и с тех пор обветшавшие до такой степени, что штукатурка сходила со стен пластами, как старая кожа. Дома эти стояли вплотную друг к другу, и улицы между ними были такими узкими, что солнце заглядывало сюда лишь на час в полдень, а всё остальное время здесь царил полумрак.

В одной из таких коррал и жила семья Гарсия-и-Лопес. Это был дом на Калье-де-Эмбахадорес, номер сорок два, и он ничем не отличался от своих соседей: четыре этажа, сложенных из потемневшего кирпича, галереи с деревянными перилами, выходившие во внутренний двор, одна уборная на двадцать семей и вода, которую нужно было носить вёдрами с колонки на первом этаже. Во дворе всегда пахло чем-то — то варевом из чечевицы, которое готовила какая-нибудь хозяйка на жаровне, то мокрым бельём, развешанным на верёвках, то карболкой, которой мыли галереи. Этот запах впивался в стены, в одежду, в волосы, и даже выйдя на улицу, человек продолжал его чувствовать на себе.

Квартира семьи Гарсия находилась на третьем этаже и состояла из двух комнат. Первая комната служила одновременно кухней, столовой и гостиной; в ней стояли деревянный стол, четыре табуретки и жаровня, которую топили древесным углем, и зимой, когда уголь стоил дорого, вся семья собиралась вокруг неё, чтобы согреться. Вторая комната была спальней, где спали все вместе: отец, мать и дети — те, что уже родились, и те, что ещё должны были родиться. На стенах висели литографии святых, купленные на рынке Растро за несколько сентимо. Под литографиями стояла лампадка, которую мать семейства зажигала по воскресеньям, и тогда в комнате распространялся запах горячего оливкового масла.

Глава семьи, Энрике Гарсия, был железнодорожным рабочим. Он работал в депо на станции Делисиас, той самой, с огромными стеклянными сводами и железными балками, напоминавшими рёбра какого-то гигантского доисторического зверя. Каждое утро он вставал в пять часов, выпивал чашку ячменного кофе с куском чёрствого хлеба и уходил в депо, откуда воз-

вращался затемно, пропахший угольной пылью и машинным маслом. Это были запахи, которые не отмывались до конца никаким мылом; они въедались в кожу, в поры, в складки одежды и становились частью человека, как его имя или цвет глаз. Энрике был человеком среднего роста, с широкими плечами и руками, на которых каждая костяшка пальцев была сбита и искривлена от многолетней работы с инструментами. Он говорил мало — не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что слова, как ему казалось, не меняли того порядка вещей, который был установлен раз и навсегда: богатые богаты, бедные бедны, и между ними лежит пропасть, которую не перейти ни словами, ни делами.

Но если Энрике был человеком, который смирился с этим порядком вещей, то его жена Консуэло была человеком, который с ним боролся. Она была женщиной невысокого роста, худощавой, с тонкими чертами лица и глазами, которые, казалось, всегда смотрели немного дальше того, что было перед ними. Её мать умерла, когда ей было двенадцать лет, и она выросла в приюте при монастыре на Калье-де-Аточа, где монахини учили её читать, писать, вышивать и молиться. Там же она научилась ещё одному — тому, чего монахини не преподавали, но что усваивалось само собой: она научилась не бояться. Не бояться голода, не бояться холода, не бояться того, что жизнь может не сложиться. К тому времени, когда она вышла замуж за Энрике — ей было девятнадцать, — она уже знала, что люди несправедливы. Но она также знала, что несправедливость — это не божье установление, а человеческое, и значит, оно может быть изменено.

Она втайне от мужа читала газеты, которые покупала у разносчика за углом. Не монархические, которые приносил хозяин дома, сеньор Гомес, а те, что печатали в рабочих типографиях: *El Socialista*, *La Internacional*. Она читала их по вечерам, когда муж уже спал, и в полумраке лампадки перед иконами разбирала мелкий шрифт, водя пальцем по строчкам. Там писали о правах рабочих, о восьмичасовом рабочем дне, о создании профсоюзов, о социализме. Консуэло не всё понимала из того, что читала, но главное она поняла: есть люди, которые верят, что мир можно изменить, и они что-то для этого делают. И она решила, что её сын — тот, кто должен был вот-вот родиться, — будет одним из этих людей.

Июнь 1915 года в Мадриде стоял жаркий. Это была та особенная мадридская жара, о которой сами мадридцы говорили: *tres meses de invierno y nueve de infierno* — «три месяца зимы и девять месяцев ада». Воздух был сухим, как песок пустыни, и к полудню нагревался до такой степени, что мостовая, казалось, дышала жаром. Вода в колонке на первом этаже становилась тёплой, и утолить жажду было почти невозможно. Люди старались не выходить на улицу в полуденные часы; лавки закрывались, ставни опускались, и весь город погружался в сиесту — то особое испанское оцепенение, когда жизнь замирает и возобновляется только к вечеру.

В один из таких жарких дней — это было пятнадцатое июня — Консуэло почувствовала первые схватки. Это случилось в три часа пополудни, когда солнце стояло в зените и жара достигла своего пика. Она как раз месила тесто для гаспачо — холодного супа из томатов, огурцов и перца, который был единственным спасением в эту погоду, — как вдруг резкая боль пронзила её от поясницы до низа живота. Она ухватилась за край стола и замерла, ожидая, пока боль пройдёт. Но боль не прошла. Она отступила, а затем вернулась снова, сильнее, и Консуэло поняла: началось.

Она не испугалась. За те годы, что она прожила в приюте при монастыре, она научилась встречать трудности с сухим, почти солдатским спокойствием. Она велела соседской девочке, которая играла во дворе, бежать в депо и передать Энрике, чтобы тот немедленно возвращался домой. Затем она сама спустилась на второй этаж, к донье Пилар, женщине, которая принимала роды у всех женщин в этом доме и в трёх соседних.

Донья Пилар была вдовой, ей было за шестьдесят, и она обладала репутацией женщины, которая знает о родах больше, чем иной врач. У неё было лицо, напоминавшее карту Мадрида — с таким же количеством линий, морщин и складок, — и голос, низкий и хриплый от много-

летнего курения дешёвого табака. Она носила неизменный чёрный платок, заколотый под подбородком, и передвигалась по лестницам с проворством, которое противоречило её возрасту. Когда Консуэло постучалась к ней, донья Пилар открыла дверь, оглядела её с ног до головы и сказала:

— Пятый... Я полагаю, у тебя это будет быстро. У тех, кто рождает в жару, это всегда быстро. Жара помогает мышцам расслабиться. Иди наверх и жди меня. Я сейчас приду.

И она пришла — с узелком, в котором лежали чистое полотно, ножницы, бутылка спирта, настойка из каких-то трав, рецепт которых она никому не раскрывала, и маленькая серебряная медаль с изображением Девы Марии. Она положила медаль на живот Консуэло и сказала:

— Это тебе поможет больше, чем я.

Между тем новость о том, что у Гарсия начались роды, уже разнеслась по всему дому. Соседи, которые до этого дремали или занимались своими делами, пробудились к жизни. Женщины оставляли свои жаровни и вязание; мужчины, которые были дома (безработные, старики, инвалиды), делали вид, что ничего не замечают, но на самом деле прислушивались к звукам с третьего этажа. Дети, игравшие во дворе, прекратили свои игры и смотрели на окна квартиры Гарсия, ожидая чего-то необычного. В испанских рабочих кварталах рождение ребёнка было событием общим, касавшимся всех, — как свадьба, как похороны, как праздник святого покровителя. Здесь ещё не было той городской анонимности, когда люди живут за закрытыми дверями и не знают имён своих соседей. Здесь все знали всё обо всех и считали это не вмешательством в личную жизнь, а проявлением солидарности.

Энрике прибежал из депо, когда схватки у Консуэло шли уже три часа. Он был в промасленной рабочей блузе, с ещё не отмытыми от угольной пыли руками, и, ворвавшись в квартиру, остановился в дверях спальни с таким выражением лица, какое бывает у людей, столкнувшихся с чем-то, что они не могут ни починить, ни исправить. Донья Пилар выставила его за дверь:

— Ты своё дело уже сделал. Теперь это дело женщин. Ступай во двор и жди. Когда будет нужно, я тебя позову.

И Энрике пошёл во двор, где уже собрались несколько соседей-мужчин. Кто-то протянул ему сигарету, кто-то хлопнул по плечу, кто-то просто стоял рядом, молча разделяя с ним ожидание. Во дворе пахло жасмином, который рос у колонки, и от этого запаха, такого мирного и нежного, тревога Энрике становилась ещё острее. Он курил одну сигарету за другой и смотрел на окна третьего этажа, за которыми происходило то, что было скрыто от его глаз, но что он ощущал всем своим существом.

Роды длились долго. Солнце уже начало клониться к закату, и небо над крышами Мадрида окрасилось в те особенные розовато-оранжевые тона, которые можно увидеть только в этом городе — городе, расположенном так высоко над уровнем моря, что воздух здесь всегда прозрачнее, а краски ярче, чем где бы то ни было. На Калье-де-Эмбахадорес началось вечернее оживление: лавки открывались после сиесты, уличные торговцы раскладывали свои товары, из окон доносились звуки гитары и чей-то женский голос, певший куплеты.

А на третьем этаже дома номер сорок два Консуэло сжимала зубы и старалась не кричать. Не потому, что ей не было больно — больно было так, как она никогда не испытывала, — а потому что она не хотела пугать соседей. Она думала о том, что говорилось в газетах, которые она читала по вечерам. Она думала о новом мире, который должен был наступить. Она думала о том, что её сын должен жить в этом новом мире, а не в том, в котором жила она. И эта мысль придавала ей сил.

В половине девятого вечера, когда на город уже опустились сумерки и в окнах начали зажигаться огни, родился мальчик. Донья Пилар приняла его на руки, обмыла тёплой водой, перевязала пуповину и, прежде чем завернуть в чистое полотно, поднесла к окну, словно представляя его городу. Ребёнок закричал — громко, требовательно, — и этот крик разнёсся по всему двору, долетев до Энрике, который уже докуривал, наверное, десятую сигарету.

— Мальчик, — сказал кто-то из соседей. — Слышишь? Это крик мальчика. Девочки так не кричат.

Никто не знал, правда ли это, но все закивали с видом знатоков. Энрике бросил сигарету и, не помня себя, побежал по лестнице на третий этаж.

Когда он вошёл в спальню, Консуэло держала ребёнка на руках. Она была бледна и измучена, но в её глазах горел тот особенный свет, который бывает только у женщин, только что прошедших через роды. Она посмотрела на мужа и сказала:

— Он будет крепким, Энрике. Посмотри на его руки. Посмотри, как он сжимает кулачки. Он будет бороться.

— С кем ему бороться? — спросил Энрике, не понимая.

— С несправедливостью, — ответила Консуэло. — С тем, что мы живём в двух комнатах и едим одну чечевицу. С тем, что ты работаешь по двенадцать часов и получаешь гроши. С тем, что богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Вот с чем он будет бороться.

Энрике ничего не ответил. Он смотрел на сына и чувствовал, как в его груди поднимается что-то такое, чему он не мог найти названия. Это была не гордость, не радость, не страх — это было всё вместе, смешанное в какой-то невообразимой пропорции. Его сын. Его плоть и кровь. Маленький человек, который только что появился на свет в этой бедной квартире на Калье-де-Эмбахадорес и уже был назван борцом.

— Как мы его назовём? — спросил он.

— Пабло, — ответила Консуэло. — В честь святого Павла. Он тоже боролся.

Она не сказала вслух того, что подумала в этот момент: что имя Пабло ей нравилось ещё и потому, что так звали одного из основателей испанской социалистической партии — Пабло Иглесиаса, человека из народа, типографского рабочего, который говорил, что рабочие должны объединиться и бороться за свои права. Но она не сказала этого мужу. Зачем? Имя было только именем. Важно было то, что человек сделает с ним.

Донья Пилар тем временем уже разослала соседских мальчишек с известиями. И вскоре начали приходить первые посетители: соседка с первого этажа принесла кувшин молока; жена пекаря с улицы Сан-Фернандо — свежий хлеб; старый Хулиан, безработный каменщик, живший в мансарде под самой крышей, — полбутылки дешёвого вина. Каждый считал своим долгом засвидетельствовать уважение новому гражданину Мадрида и его родителям. В комнате на третьем этаже стало тесно и шумно; запахи табака, вина, молока, свежего хлеба смешивались с запахом лампадного масла и тем особым запахом, который всегда сопровождает рождение, — тёплым, влажным, похожим на запах только что вскопанной земли после дождя.

А за окном уже наступила ночь. Мадридская ночь, синяя, с яркими звёздами и прохладным ветерком, наконец-то согнавшим дневную духоту. На Калье-де-Эмбахадорес зажглись уличные фонари — не электрические, а газовые, — и их жёлтый свет ложился на булыжную мостовую причудливыми узорами. Где-то играла гитара и пели фламенко; где-то стучали колёсами последние фиакры, возвращавшиеся с Пуэрта-дель-Соль.

А далеко на севере гремели пушки. Шёл второй год Великой войны. В окопах Фландрии и Шампани гибли десятки тысяч людей — немцев, французов, англичан. Испания оставалась нейтральной, и газеты были полны сообщений о битвах под Ипром и Изонцо, которые воспринимались мадридцами почти как новости с другой планеты. Однако нейтралитет этот был особым. С одной стороны, страна богатела — испанские заводы и шахты поставляли воюющим державам всё, что им было нужно, и цены росли. С другой — богатство это распределялось так неравномерно, что простые люди вроде Энрике Гарсия чувствовали себя не бенефициарами, а жертвами этого бума. Цены на хлеб росли быстрее, чем заработная плата; уголь дорожал; и в рабочих кварталах Мадрида, Барселоны, Бильбао всё чаще звучало слово, которое одни произносили с надеждой, а другие — со страхом: *cambio* — перемены.

Но здесь, в этой комнате на третьем этаже, на Калье-де-Эмбахадорес, перемены были пока ещё только обещанием, запечатлённым в имени новорождённого. Пабло Гарсия-и-Лопес лежал на руках у матери, и его личико было спокойным, а кулачки — сжатыми, словно он уже сейчас готовился к той борьбе, о которой говорила его мать.

На следующий день Энрике отправился в приходскую церковь Сан-Каэтано, чтобы договориться о крещении. Церковь эта стояла в двух кварталах от их дома, на улице Эмбахадорес, и была она не из тех величественных храмов, которые украшают центр Мадрида, а из скромных приходских церквей, построенных для простого люда. Её фасад был строг и почти лишён украшений, но внутри, в полумраке, мерцали свечи перед статуей Девы Марии Кармельской, и пахло ладаном и сыростью. Священник, падре Мануэль, был молодым человеком из крестьянской семьи родом из Толедо, который ещё сохранил энтузиазм своей профессии и верил, что его прихожане нуждаются не только в отпущении грехов, но и в добром слове. Он охотно согласился крестить младенца и записал имя в приходскую книгу.

— Пабло, — сказал он, выводя буквы. — Хорошее имя. Может быть, ваш сын станет проповедником.

Энрике покачал головой.

— Дай Бог, чтобы он просто вырос здоровым и нашёл хорошую работу, падре. Проповедником... Откуда у нас деньги на учение?

Падре Мануэль вздохнул. Он знал, что Энрике прав. Для мальчика из рабочего квартала путь в семинарию был почти так же закрыт, как путь на Луну.

— Тогда молитесь, — сказал он. — Молитесь за него. Времена тяжёлые, и кто знает, что его ждёт.

Крещение состоялось в воскресенье, двадцатого июня. Консуэло надела своё лучшее платье — из тёмно-синего сукна, купленное три года назад на распродаже, — и накинула на плечи мантилью из чёрных кружев, которую ей подарила мать ещё до своей смерти. Она держала Пабло на руках, и лицо её выражало ту смесь гордости и благочестия, которая свойственна испанским матерям, приносящим своих детей к купели. Крёстным отцом стал товарищ Энрике по депо, Хоакин Фернандес, человек крепкого сложения и доброго нрава, который в будущем сыграет в жизни Пабло немалую роль. Крёстной матерью стала соседка с первого этажа, та самая, что принесла молоко.

Церемония была скромной. Падре Мануэль прочёл положенные молитвы, окропил голову младенца святой водой (ребёнок заплакал, но не слишком громко), сделал запись в приходской книге. Из церкви вышли под колокольный звон — и попали в самый разгар воскресной уличной жизни. По Калье-де-Эмбахадорес шли торговцы с корзинами фруктов; мальчишки играли в футбол тряпичным мячом; где-то играла шарманка. Жизнь в Мадриде никогда не замирала полностью, даже в самые трудные дни.

Вечером, когда гости разошлись и в квартире на третьем этаже стало тихо, Консуэло сидела у окна с младенцем на руках и смотрела на закат. Солнце садилось где-то за Каса-де-Кампо, и небо над Мадридом было точь-в-точь такого цвета, как вино из Вальдепеньяса — тёмно-рубиновое, почти чёрное у горизонта и светлеющее к зениту. Она смотрела на это небо и думала.

Она думала о том, что этот мальчик будет жить в двадцатом веке — веке машин, пара, электричества, — что он увидит то, чего не видела она, и узнает то, чего она не знает. Она думала о том, что в мире, где она выросла, женщины не имели права голоса ни в политике, ни в семье, но её сын, может быть, увидит другое общество. Она думала о том, что, несмотря на бедность и тяжёлый труд, жизнь может быть осмысленной, если у человека есть цель. Она думала о том, о чём думают все матери, склоняясь над колыбелью сына, — о том, кем он станет и куда приведёт его судьба.

Она не знала, что судьба приведёт его на поле боя под Гвадалахарой, где он встретит другого юношу, родившегося в том же 1915 году в деревне в Эстремадуре, — и что они убьют друг друга.

Но всё это было впереди. А пока — пока был только этот вечер, этот закат, эти звуки засыпающего Мадрида. Пока был только этот младенец на руках у матери, его тихое дыхание, его сжатые кулачки. И пока была только эта надежда — хрупкая, как пламя лампадки перед иконой, — на то, что жизнь этого мальчика будет лучше, чем жизнь его родителей.

За окном дул мадридский ветер. Он нёс с собой запахи города: жасмина и угольной пыли, свежего хлеба и машинного масла, ладана из церквей и табачного дыма из таверн. Он подхватывал эти запахи и уносил их в ночь, туда, где над плоскогорьем Месеты горели холодные кастильские звёзды. И никто, глядя на эту спящую столицу, не мог бы сказать, что ждёт её впереди — какие войны, какие потрясения, какие перемены.

На Калье-де-Эмбахадорес, 42, в двух маленьких комнатах на третьем этаже, — спал Пабло Гарсия-и-Лопес, и ему снились сны, которых он, конечно, не запомнил. Но, может быть, уже тогда ему снилось что-то такое, что предвещало его будущую жизнь — жизнь борца и идеалиста, человека, который верил в справедливость и умер за неё, так и не дожив до двадцати двух лет.

Ибо время продолжало свой бег.

### Глава 3. Детство. Эстремадура, 1918–1927

*Рассказывает мать: Мария дель Кармен*

*Детство моего Анхеля было похоже на долгое лето. Я не помню, чтобы он плакал — разве что от голода в младенчестве, но то был не плач, а требование: накорми меня, и я буду спокоен. Он рос, как растёт молодой дуб на склоне холма — не быстро, но упрямо, с каждым годом всё глубже запуская корни в эту каменистую землю. Я смотрела на него и думала: Боже, почему Ты дал мне такого красивого ребёнка? И тут же одёргивала себя — гордыня, грех, — но всё равно смотрела и не могла насмотреться. Он был серьёзным мальчиком. Слишком серьёзным, говорили соседи. Когда другие дети играли в войну, он сидел у церковной стены и смотрел, как муравьи тащат соломинку. Я знала уже тогда: он не такой, как все. Но я не знала — никто не знал, — что из этого выйдет.*

Первое, что запомнил сам Анхель, — не лицо матери, не запах розмарина на земляном полу, а свет. Тот особенный прозрачный свет эстремадурской осени, который проникал сквозь щели в ставнях и рисовал на противоположной стене тонкие золотые полосы. Он лежал в своей кровати — деревянной люльке, которую его отец сколотил из старых досок и покрасил извёсткой, — и смотрел, как эти полосы движутся по мере того, как солнце поднимается над холмами. Ему было, наверное, года два, но это воспоминание осталось в нём навсегда: первое осознание того, что мир состоит из света и тени, и что и то и другое прекрасно.

Деревня в те годы жила своей отдельной жизнью, почти не связанной с тем, что происходило за её пределами. Великая война закончилась в 1918 году, но сюда, в долину между холмами, новости доходили медленно, как вода, просачивающаяся сквозь известняк. Кто-то говорил, что в Европе погибли миллионы; что рухнули империи; что в далекой и холодной России случилась революция и там теперь правят рабочие и крестьяне. Но для жителей Ла-Альдеа всё это были рассказы из того же разряда, что истории о маврах и о кладах, зарытых в холмах. Они слушали, кивали головами и возвращались к своим делам — к пшенице, к оливам, к козьему сыру, к тому извечному кругу посева и жатвы, который не менялся здесь уже тысячу лет.

Анхель рос среди этой неизменности. Его мир был невелик: дом, церковь, холмы, несколько улочек между каменными домами, колодец на площади, родник внизу, куда он ходил с матерью за водой. Но этот маленький мир был для него неисчерпаем. Каждый камень на

склоне холма имел свою форму, свой цвет, свою тень в определённый час дня. Каждое дерево — а их было немало: пробковые дубы с их морщинистой корой, каменные дубы с мелкими жёсткими листьями, оливы с их серебристой изнанкой, — каждое дерево было отдельным существом со своим характером. Анхель знал их все. Он знал, что старый пробковый дуб на восточном склоне — тот, в который ударила молния лет двадцать назад, — даёт самую густую тень в полдень. Он знал, что под оливами у родника всегда растут особенные грибы после первых осенних дождей. Он знал, что если приложить ухо к стволу большого каменного дуба за церковью, можно услышать, как внутри что-то гудит — может быть, соки, а может быть, как говорила мать, ангелы поют хвалу Господу.

Религия вошла в его жизнь раньше, чем он научился говорить. Мать брала его с собой на мессу каждое воскресенье, а часто и в будние дни. Она сажала его на деревянную скамью рядом с собой, и он сидел смирно — не потому, что боялся наказания, а потому, что в церкви было то, что завораживало его с самого начала: полумрак, пронизанный лучами света из высоких окон; запах ладана и воска; статуя Девы Марии Скорбящей с её тёмным деревянным лицом и настоящими слезами из стекла; звук колокольчика во время причастия; монотонное пение падре Херонимо на латыни. Латыни он не понимал, но сами звуки казались ему музыкой, более прекрасной, чем любая другая. Иногда он закрывал глаза и представлял, что эти слова — это ключи, открывающие двери в какой-то иной мир, который находится прямо здесь, рядом, за тонкой перегородкой реальности.

Падре Херонимо заметил этого мальчика. Он заметил, что Анхель не просто сидит на мессе, как другие дети, — скучая, ёрзая, ожидая, когда всё закончится, — а слушает. Слушает по-настоящему, с тем вниманием, какое бывает только у очень старых людей или у очень необычных детей. Однажды после мессы падре подозвал его к себе.

— Тебе нравится в церкви? — спросил он.

— Да, падре.

— Почему?

Анхель задумался. Ему было тогда пять лет, и он ещё не умел объяснять словами то, что чувствовал.

— Здесь ангелы, — сказал он наконец. — Я их чувствую.

Падре Херонимо посмотрел на него долгим взглядом и перекрестился. Позже он скажет Марии дель Кармен: «Этот мальчик отмечен. Береги его». И Мария дель Кармен, услышав это, заплакала от счастья — потому что вот оно, подтверждение, знак, что она не ошиблась, что её сын действительно особенный, действительно избранный.

Но детство есть детство, и даже у самого серьёзного мальчика есть игры и радости. Анхель дружил с другими деревенскими детьми — с сыном мельника Педро, с дочерью пастуха Кармен, с двумя сыновьями кузнеца, чьи имена были одинаковы (Хуан и Хуан-младший), что все звали их просто *лос-Хуанес*. Они играли в те же игры, в какие играли дети в испанских деревнях на протяжении столетий: в *чурро*, где нужно было бросать палки и сбивать ими другую палку; в прятки среди камней и дубов; в *торо* — один изображал быка, остальные убегали. Анхель не был ни самым быстрым, ни самым ловким, но он был самым спокойным, и это спокойствие притягивало других детей. Когда игра заканчивалась ссорой — что случалось часто, потому что дети есть дети, — он садился на камень и начинал рассказывать истории.

Эти истории были удивительными. Он рассказывал о святых, о которых слышал от матери и падре: о святом, проповедовавшем птицам; о святом, убившем дракона; о святом, явившемся на белом коне во время битвы с маврами. Но он не просто пересказывал то, что слышал, — он добавлял детали, которые делали эти истории живыми. Дракон у него пах серой и обжигал траву своим дыханием; птицы отвечали святому ему на языке, который был почти человеческим, но не совсем; третий святой являлся в облаке света, которое было такого же цвета, как утренний туман над Гвадианой. Дети слушали, раскрыв рты, и даже Хуан-младший,

который обычно не мог усидеть на месте больше двух минут, замирал, боясь пропустить хоть слово.

Но была у Анхеля и другая сторона — та, которую он не показывал никому, кроме, может быть, матери, и то лишь отчасти. В шесть лет у него случилась первая в жизни лихорадка. Это была обычная деревенская болезнь — может быть, малярия, может быть, что-то другое, принесённое комарами с рисовых полей в низовьях Гвадианы, — но она едва не унесла его в могилу. Три дня он лежал в жару, метался, бредил, и в бреду ему являлись видения. Он видел огромную фигуру в белом, стоящую на вершине холма; фигура эта держала в руках меч, и меч горел, но не сгорал. Он видел поле, усеянное красными цветами, — и только позже, очнувшись, он понял, что это были маки. Он видел двух орлов, дерущихся в небе. И он видел свою мать, стоящую на коленях перед распятием, и слёзы на её щеках были такими же стеклянными, как слёзы Девы Марии Скорбящей.

Когда лихорадка прошла, он рассказал матери о своих видениях. Мария дель Кармен выслушала его с тем выражением лица, которое бывает у людей, одновременно испуганных и счастливых.

— Это были не видения, — сказала она. — Это были знаки. Бог говорил с тобой. Ты должен помнить их всегда.

И он помнил. Он помнил так ясно, как будто это случилось вчера. И с тех пор в нём поселилась уверенность — тихая, невысказанная, но прочная, как корни каменного дуба, — что он действительно отмечен. Что его жизнь будет не такой, как у других. Что у него есть предназначение.

Между тем мир за пределами долины менялся. В 1923 году генерал Примо де Ривера совершил государственный переворот и установил военную диктатуру. В деревне об этом узнали из газеты, которую иногда привозил из Касереса дядя Мигель. Хосе Антонио прочитал заметку вслух, медленно, с трудом разбирая газетный шрифт, и, закончив, сказал:

— Военный у власти. Это хорошо. Военные наведут порядок.

Мария дель Кармен перекрестилась и ничего не сказала. Она не разбиралась в политике и не хотела в ней разбираться. Её миром была церковь, дом и сын. Всё остальное было далёким, как шум ветра в горах.

Анхелю было восемь лет, когда он впервые увидел море. Это случилось потому, что дядя Мигель взял его с собой в поездку в Португалию — они поехали продавать партию пробки, которую накопили за несколько лет. Дорога заняла три дня, и они проехали через всю Эстремадуру, мимо пробковых дубов, мимо выжженных солнцем полей и белых городков, мимо римских мостов и средневековых замков, мимо всей той древней, сухой, прекрасной земли, которая была родиной Анхеля. А потом они пересекли границу — невидимую линию между двумя бедными провинциями двух бедных стран, — и в какой-то момент, когда дорога пошла под уклон и повернула к западу, Анхель увидел его.

Море.

Оно было синим — такого синего цвета, какого он никогда не видел. Синего, как мантия Девы Марии на иконе в церкви. Синего, как небо в самый жаркий полдень. Синего, как цветок, название которого он не знал. Оно простиралось до горизонта, сливаясь с небом так, что нельзя было понять, где кончается одно и начинается другое. И оно дышало. Анхель смотрел на волны, набегающие на песок, и впервые в жизни почувствовал то, чему он не мог дать названия, — смесь восторга, страха и странной печали, которая возникает, когда сталкиваешься с чем-то бесконечно большим, чем ты сам, и понимаешь, что твоя жизнь — лишь крошечная часть чего-то необъятного.

— Это Атлантический океан, — сказал дядя Мигель. — За ним — Америка.

Америка. Анхель слышал это слово и раньше. Говорили, что туда уехали многие из Эстремадуры — люди, которые не смогли прокормиться на этой скудной земле и отправились

за океан искать счастья. Говорили, что они присылают деньги, что их дети говорят на чужом языке, что они уже никогда не вернутся. И теперь, глядя на бескрайнюю синюю гладь, Анхель пытался представить себе эту далёкую землю и не мог. Его воображение отказывалось работать на таком расстоянии.

— А зачем они туда едут? — спросил он.

— Потому что здесь нет жизни, — ответил дядя Мигель просто. — Земля родит плохо, налоги высокие, помещик забирает две трети урожая. Что остаётся? Только уехать.

Это был первый раз, когда Анхель услышал, что его мир — не лучший из миров. До этого он думал, что жизнь везде такая же, как в Ла-Альдеа: такая же размеренная, такая же бедная, такая же пропитанная молитвами и запахом оливкового масла. Но оказалось, что нет — что где-то есть Америка, куда люди уезжают, потому что здесь нет жизни. Эта мысль засела в нём и осталась надолго, хотя он никому о ней не говорил.

Они вернулись в деревню через неделю. И когда Анхель снова увидел знакомые холмы, знакомые каменные дубы, знакомые белые стены домов и черепичные крыши, он почувствовал то, чего не ожидал: облегчение. Потому что, как бы ни был прекрасен океан, дом был домом. Здесь пахло травами на полу, здесь горела лампадка перед распятием, здесь мать каждый вечер становилась на колени и молилась. Здесь был его мир.

Шли годы. Анхель рос, становился выше, и черты его лица, по-детски мягкие, начинали приобретать ту строгость, которая будет свойственна ему в юности. Он по-прежнему ходил к мессе, и теперь не просто слушал, но и помогал падре Херонимо — прислуживал в алтаре, подавал воду и вино, звонил в колокол. Падре Херонимо, стареющий и всё чаще болеющий, привязался к мальчику, видя в нём то ли будущего священника, то ли просто утешение в своей одинокой старости. Он начал учить Анхеля латыни — той самой латыни, которая так завораживала его в детстве. И Анхель впитывал эти уроки с жадностью, которая удивляла старого священника.

— *Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum*, — повторял Анхель, и слова эти звучали у него не как заученный урок, а как песня.

— Хорошо, очень хорошо, — кивал падре Херонимо. — Ты схватываешь быстрее, чем семинаристы, которых я учил, когда был молодым. Из тебя вышел бы хороший священник.

Анхель не отвечал на это ничего. Мысль о том, чтобы стать священником, приходила ему в голову — особенно после тех видений, которые у него были в лихорадке, — но он ещё не был уверен. Он чувствовал, что его предназначение может быть иным. Каким — он пока не знал.

Мать, разумеется, мечтала, чтобы он стал священником. Для неё это было бы высшим счастьем — увидеть своего сына в сутане, служащим мессу, приносящим Бескровную Жертву. Она говорила об этом постоянно, но не прямо — она была слишком мудра, чтобы давить на сына, — а намёками, иносказаниями, историями о святых, которые с детства посвятили себя Богу.

Отец, Хосе Антонио, относился к этому с обычным своим молчаливым скептицизмом. Он не возражал против того, чтобы сын стал священником, — в конце концов, это была почётная профессия и единственный способ для крестьянского мальчика выбиться в люди, — но и не поощрял. Ему нужен был помощник в поле, и он надеялся, что Анхель, когда подрастёт, возьмёт на себя часть работы. Земля не ждёт, а священников в Испании и так хватает.

Так прошло детство Анхеля Альварес-и-Фуэнтеса. Когда ему исполнилось двенадцать лет — это был 1927 год, — он уже не был ребёнком в том смысле, в каком бывают детьми городские мальчишки, защищённые от жизни стенами школ и домов. Он умел доить козу и забивать ягнёнка (хотя это давалось ему тяжело — он плакал первый раз, когда пришлось это делать); он умел пахать на осле и собирать оливки; он умел читать латинские молитвы и знал наизусть многое из Евангелие от Матфея; он знал, как пахнет земля после первого осеннего дождя и как выглядят звёзды в безлунную ночь над эстремадурскими холмами. Он был высоким для своего

возраста, худощавым, с большими карими глазами и тихим голосом. Деревенские девушки уже начинали поглядывать на него, но он этого пока не замечал.

Однажды вечером — это было в октябре, незадолго до Дня Всех Святых — он сидел на склоне холма над деревней и смотрел на закат. Солнце опускалось за Гвадарраму, и небо было того особенного цвета, который бывает только осенью, — розовато-оранжевого у горизонта и бледно-фиолетового выше, с тонкой полоской облаков, похожих на перья необычных крыльев. И там, на холме, Анхель вдруг почувствовал то, что раньше чувствовал только смутно: чувство, что он стоит на пороге чего-то огромного. Детство кончалось. Впереди была юность. И там, впереди, его ждало то предназначение, о котором говорила мать и которое он сам смутно ощущал всю свою короткую жизнь.

Он встал, отряхнул с колен сухую траву и пошёл вниз, в деревню, где в окнах уже зажигались огни. И в этот момент он был счастлив — счастлив просто от того, что живёт на этой земле, под этим небом, среди этих людей. Он не знал тогда, что это счастье — тихое, безмятежное — продлится недолго. Что впереди его ждут потрясения, потери, боль. Что он умрёт, не дожив до двадцати трех лет, на поле боя под Гвадалахарой, от пули другого юноши, родившегося с ним в один год.

Но это всё было впереди. А пока — пока была только эта осень, этот закат, этот запах сухой травы и тимьяна. Пока было только это детство, которое уходило, как уходит вода из пересохшего колодца, — медленно, неумолимо, навсегда.

Мария дель Кармен ждала его дома. Она, как всегда, стояла на коленях перед распятием и молилась. Услышав шаги сына, она поднялась, перекрестилась и пошла накрывать на стол. Ужин был скромным — хлеб, козий сыр, несколько оливок. Но для них это был пир, потому что они были вместе и были живы, а это, в конце концов, и есть счастье — то единственное счастье, которое доступно беднякам.

И ночь опустилась на деревню Ла-Альдеа — тихая, звёздная, прохладная. Лаяли собаки. Где-то далеко кричал осёл. Ветер нёс запахи осени — сухой травы, зрелых оливок, дыма из труб. И мальчик по имени Анхель спал в своей комнате, и ему снилось море — то самое синее море, которое он видел в восемь лет и которое с тех пор не мог забыть. Оно было прекрасно и бесконечно, и в нём отражались звёзды, такие же яркие, как те, что горели сейчас над эстремадурскими холмами.

А время шло. И оно не ждало никого.

#### **Глава 4. Детство. Мадрид, 1918–1927**

*Рассказывает мать: Консуэло Гарсия-и-Лопес*

*В рабочих кварталах Мадрида дети растут быстро. Им некогда быть детьми — жизнь сама выталкивает их на улицу, в лавку за углём, в очередь за хлебом, в соседний двор, где надо присмотреть за младшими. Мой Пабло был таким. В пять лет он уже знал, сколько стоит фунт чечевицы и как отличить свежую рыбу от лежалой. В семь он читал газеты — сначала по слогам, потом всё быстрее, — и задавал вопросы, на которые у меня не всегда находились ответы. Спрашивал: почему одни люди живут во дворцах, а другие в двух комнатах? Почему его отец работает по двенадцать часов, а денег всё равно не хватает? Почему священник в церкви Сан-Каэтано говорит, что бедные блаженны, а сам ходит в шёлковой рясе? Я слушала его и думала: этот мальчик родился с чувством справедливости — острым, как лезвие ножа. И я боялась. Потому что знала: с таким чувством жить трудно. Очень трудно.*

Первое осознанное воспоминание Пабло Гарсия-и-Лопеса было связано не со светом, не с лицом матери, а с шумом. С тем особым шумом, который наполняет мадридские корралы с раннего утра до поздней ночи и который становится для их обитателей чем-то вроде дыхания — настолько привычным, что его перестаёшь замечать, но стоит ему исчезнуть, и ты просы-

паешься в тревоге. Этот шум состоял из множества слоёв, наложенных друг на друга, как пласты краски на старых стенах: крики уличных торговцев, выкликавших свой товар («Сардины! Свежие сардины из Виго!»); стук копыт лошадей и мулов по булыжнику; перебранка соседок на общей галерее; плач детей; звон колоколов церкви Сан-Каэтано; и поверх всего этого — ровный, низкий гул Мадрида, города-улья, города-муравейника, который никогда не затихал полностью.

Пабло было три года, когда он выбрался из квартиры на общую галерею и, просунув голову между прутьями перил, стал смотреть вниз, во внутренний двор. Там, внизу, его мать развешивала бельё на верёвках, натянутых между галереями, и солнечный свет падал на мокрые простыни так, что они казались огромными крыльями. Он смотрел на мать, и его вдруг охватило странное чувство, для которого у него тогда не было слов, но которое он запомнил на всю жизнь. Это было чувство одновременно любви и страха — любви к этой маленькой женщине, которая так ловко управлялась с простынями, и страха перед миром, который был так велик, а он так мал. Потом мать подняла голову, увидела его и крикнула: «Отойди от перил, немедленно!» — и чувство исчезло, сменившись обидой. Но когда он вырос, он понял: это был первый проблеск сознания. Первый момент, когда он осознал себя отдельным существом в огромном, непонятном мире.

Детство в рабочем Мадриде 1920-х годов было суровым. Не жестоким — жестокость была скорее исключением, — но суровым, как сурова сама кастильская зима. Пабло рано узнал, что такое голод. Не тот острый голод, от которого умирают, — до этого, слава Богу, не доходило, — а тот хронический, тупой голод, который поселяется в желудке и не уходит никогда. Их семья питалась тем же, чем питались все рабочие семьи в коррале: чечевицей, нутом, хлебом, иногда сардинами, ещё реже — мясом. По воскресеньям мать готовила *косидо* — густое варево из нута, картофеля и кусочка сала, которое варилось несколько часов, наполняя квартиру запахом, сводившим Пабло с ума. Он сидел на табуретке и смотрел, как поднимается пар над кастрюлей, и ждал, когда наконец можно будет есть. Эти воскресные обеды были главным событием недели — не только из-за еды, но и потому, что в эти часы вся семья собиралась вместе, и отец, усталый после шестидневной работы, иногда рассказывал что-нибудь о депо, о паровозах, о том, как однажды машинист дал ему подержаться за рычаг, и он на целую минуту стал почти машинистом.

До него у Консуэло было ещё четверо — два мальчика и две девочки, — но все они умерли, не дожив до года: одного унесла дифтерия, остальные просто угасли от слабости, как гаснет огонь, когда в лампадке кончается масло. Поэтому на Пабло, пятого, она смотрела с особенной, почти иступлённой надеждой: этот должен выжить. Этот будет жить. Этот изменит мир.

Энрике Гарсия был хорошим отцом — настолько хорошим, насколько может быть хорошим отец, который видит своих детей только поздно вечером и в воскресенье. Он никогда не бил Пабло (и даже не шлёпал — это было прерогативой матери, да и то в редких случаях), но его молчаливое присутствие действовало на мальчика сильнее любого наказания. Когда отец был недоволен, он просто замолкал ещё больше обычного и смотрел на Пабло долгим, тяжёлым взглядом, от которого тому становилось стыдно — даже если он не знал, в чём провинился. Этот взгляд говорил: «Я работаю двенадцать часов в день, чтобы ты мог есть этот хлеб, так не заставляй меня жалеть об этом». И Пабло, хотя и был ещё ребёнком, понимал эту безмолвную речь.

С матерью было иначе. Консуэло была не просто матерью — она была проводником в мир идей. Это она научила Пабло читать. Не по букварю, а по газетам — тем самым рабочим газетам, которые она сама читала украдкой от мужа. Она сажала сына рядом с собой на продавленный диван, открывала страницу и водила пальцем по строчкам: «Вот смотри: „Ра-бо-чие всех стран, со-е-ди-най-тесь“. Это написал человек по имени Карл Маркс. Он жил далеко, в

Германии, но его книги читают во всём мире». Пабло было пять лет, он, разумеется, ничего не понимал — ни кто такой Маркс, ни что значит «соединяйтесь», ни где находится Германия. Но слова «рабочие» он понимал. Его отец был рабочим. Сосед Хоакин, крёстный, был рабочим. Все вокруг были рабочими. Значит, эти слова были про них.

— А зачем они должны соединяться? — спросил он.

— Потому что поодиночке они слабые, а вместе — сильные, — ответила Консуэло. — Посмотри на отца. Он работает один. Если он попросит у начальника больше денег, начальник его просто уволит и возьмёт другого. Но если все рабочие в депо попросят вместе, начальнику придётся с ними говорить. Понял?

Пабло кивнул. Он не был уверен, что понял до конца, но главное уловил: вместе — сила. Это было простое, почти детское правило, но в нём уже была заложена вся будущая жизнь Пабло Гарсия-и-Лопеса.

Улица была вторым домом для мадридских детей, и Пабло не был исключением. Едва научившись ходить, он уже играл во дворе корралы с другими детьми, а став постарше, начал выходить за пределы Калье-де-Эмбахадорес — сначала на соседние улицы, потом всё дальше и дальше. Мадрид его детства был городом контрастов, гораздо более резких, чем сегодня. Чтобы понять это, достаточно было пройти пятнадцать минут на север — от корралы к Пуэртадель-Соль, а оттуда к Гран-Виа, которую тогда ещё только достраивали.

Там, на Гран-Виа, всё было другим. Там были огромные белые здания с лепниной и балконами, гостиницы с швейцарами в ливреях, кафе с зеркальными окнами, за которыми сидели сеньоры в шёлковых платьях и сеньоры в костюмах с иголки. Там пахло не чечевицей и карболкой, а духами, кофе и свежей выпечкой. Там автомобили сигналили друг другу, и их было так много, что Пабло в первый раз, когда попал туда с матерью, замер на тротуаре и не мог идти — он просто смотрел, как эти блестящие машины катятся по мостовой, и не верил, что они настоящие. До этого он видел только повозки, фиакры и изредка грузовики.

— Почему они такие? — спросил он у матери.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.